

24.1.96.

Анненский Иннокентий

ЦАРЬ СУМРАЧНОЙ ДОЛИНЫ

Лит. 248. 1996. 24 авг. — С. 15

ФИГУРА Иннокентия Анненского, одинокого и непризнанного поэта на сломе веков, — ни с кем и ни с чем не сравнима. Он словно держал в руках двустороннее зеркало: часть его поэзии отразила весь русский девятнадцатый век, другая — уловила и отразила будущее русской поэзии. А это редко кому удавалось.

По временам поэзия Анненского вызывает гнев. Иногда — негодование и жалость. Но почти всегда вслед за этими чувствами наплывает на нас блаженная, полубезумная улыбка: так улыбается отравленный в краткие минуты между принятием яда и его действием. В одной из рецензий 1904 года об Анненском было сказано: “автор очень близок к помешательству”. Блок и Брюсов говорили о нем пусть и сочувственно, но явно снисходительно. Анненского не ловили на слух, не хватывали нюхом. Он умер в 1909 году, пятидесяти четырех лет, абсолютно непонятым, умер, легкими египетскими иронией мешая себе усомниться в своем таланте:

*Вот газеты свежий номер,
Объявление в черной раме:
Несомненно, что я умер,
И, увьи! не в мелодраме.*

Он был степенным капризником, был невинен, как девушка, и развязен, как пьяная гейша, был, по своему же определению, “мистик”, бредил в юности “религиозным жанром Мурильо”, а закончил гениальными русскими стихами о вербной неделе:

*Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки херувима.*

Анненский хотел быть поэтом, но не хотел, чтобы его знали. Он не был “публичный поэт” (гейша это совсем ведь не то, что публичная девка). И, спасаясь от других и от самого себя, от сумрака своей растерзанной души, заплывал в древнегреческие моря Эврипида, будучи заботливым, хоть и несчастливым семьянином, проваливался в ароматизированные пороком и отдающие душком нечистот приусадебные пруды французской поэзии. “Трактир жизни” притягивал его, но и пугал:

*Муть вина, нагие кости,
Пепел стынущих сигар,
На губах — отравы злости,
В сердце — скуки перегар...*

“Алкоголь или гашиш?” — это не строка вибрирует — верещит плоть жизни поэта. И было, было от чего в России в те годы опьяняться, было от чего потерять голову! От страха перед жизнью, в котором поэт себе признаться не хотел, рождалась тоска. От тоски — самоуничижение, от самоуничижения — одино-



чество. Ник.Т-о, подписывал свои стихи Анненский. Так адресовался Одиссей к циклопу Полифему. Так адресовался действительный статский советник Анненский к окружавшей его циклопической непонятной жизни.

Анненского называли декадентом и сравнивали с Чеховым. И то, и другое верно лишь отчасти: прозу и поэзию сравнивать бесполезно, поэзия — фрагментарна, проза — бесконечно эпична, поэзия — древней, проза — новой, поэзия — всегда движение к смерти, проза — всегда движение к жизни. Питаться одна другой они могут. Объяснить друг друга — никогда.

Декадентом Анненский тоже не был, его строки “Я — слабый сын больного поколения”, или “Я — римлянин эпохи Апостата” (из Верлена), отголоски древней, все еще длищейся трагедии, сбиваемой с толку новейшим упадком. А был он новатором в поэзии, вплетшим в строку русского мелодического стиха приемы стиха интонационного, что сразу мешало все карты на ломберном столе поэзии, привело к непониманию со стороны современников: как это, в “тихих песнях” да вдруг слышится гул иного века? Анненский начал век XX, а думали, что он лишь эклектический завершает XIX.

Непонимание росло, становилось, несмотря на редкие публикации, на полупризнание “аполлоновцев” и прочее, почти всеобъемлющим. Оставалось “уничтожиться”, “канув / В этот омут безликий”, что 30 ноября 1909 года и произошло.

Но и за 18 дней до своей неожиданной смерти на пороге Царскосельского вокзала Анненский играл все на той же любимой струне под названием “Моя тоска”:

*Пусть травы сменяются над капищем
волненья
И восковой в гробу забудется рука,
Мне казался, меж вас одно недоуменье
Все будет жить мое, одна моя Тоска...*

*Я выдумал ее — и все ж она виденье,
Я не люблю ее — и мне она близка,
Недоумелая, мое недоуменье,
Всегда веселая, она моя тоска.*

Эту “веселую тоску”, это смешение мелодической и интонационной линий (“Прерывистые строки” — ясно отраженный в зеркале Анненского грядущий Маяковский) подхватили пост-символисты: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Для них царь сумрачной долины становится почти полубогом. Они поняли: Анненский — это канун новой русской, правда, лирической лишь поэзии. Ахматова писала о нем: “Он был преддверьем, предзнаменованьем / Всего, что с нами позже совершилось”.

Что же в русской поэзии предвещая, предзнаменовал собой Анненский? И что он для нас теперь? Великий дилетант? Педагог-классик в целлулоидном воротничке, поздноато загрезивший о музах? Ни то, ни другое. Во-первых, он обновил весь русский стих. Обновил, может, незаметно для себя. Он менял не форму стиха — наложение. Он привел с собой сотни небывалых эпитетов, а поэт узнают не по рифме, не по ритму, а как льва по когтям, — по эпитету. Он сделал метафоры конкретикой, а конкретику жизни — символом. Он изменил прихотливый внутренний ритм и рисунок русского стиха, и мы получили: “Как на мели крепкой водкой / Проведенные штрихи.” И, наконец, он увидел весь сумрак и ужас, который всем нам в нашем веке предстоял. Он увидел и услышал многое, но сам, так и не сумев и грядущий этот ужас, и грешный День своей жизни пережить, трагически рано смолк:

*В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится день пережитой.
Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой...
На гриф умолкшей виолончели.*

Яд его стихов выветрился, стал неопасен. Сумрак всегда был сродни нашей душе. А посему стих его и сейчас царит над нами.

Борис ЕВСЕЕВ